

“Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу...”



Я сам — хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трут —
Я мянни, как вам известно,
И в этом смысле демократ...

Порой откроешь Пушкина, прочтешь первые попавшиеся на глаза строчки, и станет не по себе: кажется, не ушел он вовсе, а, как и предсказал (“Нет, весь я не умру...”), — где-то здесь, рядом. Глядит на странную нашу жизнь “прилежными очами” и говорит такое, что властям держащим в пору пожелать: ах, сгоряча, в восторге упорительного разрушения былого отменили цензуру.

Думаете, ерничаю? Да несколько! В канун столь славного не только для россиян, но и для всего человечества юбилея грех ерничать. Но согласитесь, это ведь он про нас сказал:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу.

Предупреждал. Не вняли. Вот и хлебам **свободу**. Кстати, это пушкинское слово — **свобода**. Он ждал ее от царя, сидя на привязи в Михайловском. Не дождался — поводок сделали чуть подлиннее, но ошейник не сняли...

Так вот, откроешь порой зачитанный до дыр томик, а там вот это:

Мне жалко,
Что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин,
Что русский ветреный боярин
Считает златоты царей
За пыльный сбор календарей,
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!

Попробуй приспособь сии строчки к юбилею! Риски приблизить их автора к престолу! Слабо... Не для праздника, не для торжественных речей во славу “солнца

русской поэзии” подобные прозаизмы.

А может, они — лишь “частный случай” в гигантском наследии Пушкина, из коего мы выбираем порой самое удобное для нас, самое “наше”?

Да нет же! Откройте томик его прозы, найдите в “Романе в письмах” послание Владимира своему другу. И тут же наткнетесь на некое, что слишком похоже на приведенные выше строчки из “Родословной моего героя”. Огласим их в подтверждение неубиленности Александра Сергеевича:

“Я без прискорбиа никогда не мог видеть унижения наших исторических родов; никто у нас ими не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат. Да какой гордости воспоминаний ожидать от народа, у которого пишут на памятнике: “Гражданин Минину и князю Пожарскому”. Какой князь Пожарский? Что такое гражданин Минин? Был окольный князь Дмитрий Михайлович Пожарский и помещик Козьма Минин Сухорукий, выборный человек от всего государства. Но отечество забыло даже настоящего имени своих избавителей. Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!”

Нелегко проглотить такое — не от злопыхателя-охаивателя, а от Пушкина. Нелегко приспособить к юбилейным словесным торжам и крем-брюле, коими полны наши СМИ. Однако ж глотать надо, ибо адресовано нам. Как лекарство от наших разудалых “амнезий”. Горькое, но исцеляющее. Правда, при очень длительной терапии... Пока же, увы, сдвиги малозаметны — застарелая хворь сидит в нас глубоко, в генах.

Недавно, в самый разгар юбилейных восторгов, мне подарили шоколадного Пушкина и бутылку “Смирновской” в форме его бюста. С пробкой в виде цилиндра.

Я поблагодарил, но не удержался и ахнул: Господи, да ведь он же предвидел все это! Он тогда еще — 170 лет назад, гостя в тверской деревеньке Малинники у Прасковьи Александровны Осиповой, знал, что почти два века спустя осыплет мы его цукатами и сахарной пудрой, завернем в шелковую бумагу. Знал и посмеялся над нашей кулинарной любовью к нему, когда писал Дельвигу:

“Здесь мне очень весело. Прасковью Александровну я люблю душевно... Петр Маркович (Полторацкий, отец Анны Керн. — А.П.) здесь повеселел и умиротворительно мил. На днях было собрание у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственники, балованные ребятами, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму и черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович их взбурлил, он к ним приблизил: дети! дети! мать вас обманывает — не ешьте черносливу; поезжайте с нею. Там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут, и всем вам дадут по кусочку — дети разревелись; не хотим черносливу, хотим Пушкина. Нечего делать — их повезли, и они сбегались ко мне облизываясь — но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили!”

Мы, увы, уже не дети. Но нам все еще верится в розыгрыш Петра Марковича, в сахарного Пушкина, которого каждому достанется по кусочку на третье. И потому мы, словно те тверские ребята, опешиваем, увидев, что наш кумир вовсе не яблочный. А такой, как в письме к Петру Вяземскому:

“Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если

царь даст мне **свободу**, то я месяца не останусь... Мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство”.

Ему же, ближайшему другу своему, признавался Александр Сергеевич — не сахарный, кожаный — в другом своем “треке”:

“Бунт и революция мне никогда не нравились, это правда; но я был в связи почти со всеми и в перепишке со многими из заговорщиков. Все возмущительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под именем Баркова”.

И это отнюдь не слабодушие перед лицом грозной опасности, перед тенью виселицы на кронверке Петропавловской крепости, где трагически окончили свой земной путь его товарищи и друзья, смерть которых осталась в сердце поэта незаживающей раной. Нет, не слабодушие и желание “отмазаться” от заговорщиков в знаменитых словах Пушкина. Задолго до этого он сказал царю прямо в глаза: будь я в те дни в столице, я был бы на Сенатской, ибо там были все мои друзья.

Вот это, по-моему, и есть юбилейный Пушкин. Не сахарный, не бронзовый, а живой. Тот, что и поныне среди нас ходит, смотрит, слушает и говорит нам:

— Читал вчера смешной монолог самого модного ныне юмориста. Как мог он на Руси сохранить свою веселость?

Получив невразумительный ответ записного литкритика, замечаю как бы про себя:

— Зрелости нет у нас на севере, мы или сохнем, или гнием; первое все-таки лучше... Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!

Улышались бы эти речи чиновные люди из юбилейного комитета — всю бедно бы испортил им уютный виновник торжества. Я

это не просто так говорю, а на основе собственного опыта. Недавно, наткнувшись — буквально! — на пропущенное раньше стихотворение Пушкина, в наивном — как оказалось — восторге позвонил старому приятелю, который организационно причастен к предстоящим торжествам, чтобы поделиться открытием. Переждав взрывы моих междометий, он сказал:

— Читай.

Я прочитал:
Она глядит на вас так нежно,
Она лепечет так небрежно,
Она так тонко весела,
Ее глаза так полны чувством,
Вечор она с таким искусством
Из-под накрытого стола
Свою мне ножку подала.

Прочитал и стал ждать. Трубка молчала. Потом из нее донеслось:

— Прелестная штука! Я ее тоже не знал!

— Возьми в свою праздничную речь, — посоветовал я.

— Ты шутишь?! — фыркнула трубка. — Про ножку под столом? Там же будут члены правительства, может, даже сам Президент!!!

Я промолчал, а про себя подумал: вполне юбилейные стихи — особенно строчка про накрытый стол. Ведь сидят же президиум потом за праздничную трапезу. И закусят, и выпьют. А там и до ножки дело дойдет! Знаю — сам некогда сживал в президиумах...

И еще вспомнил я слова одного мудрого человека, который, словно предчувствуя суровую реакцию на “негабаритного”, “несерьезного” Пушкина, еще на заре века сказал:

“...Если сразу, не вдумываясь в детали, кинуть взгляд на творчество Пушкина, то первое, что поразит, это волеизъявление, ясный свет, какая-то танцующая грация, молодость, молодость без конца, молодость, граничащая с легкомыслием. Звучат Моцартову менуэты,

носятся по полотну и вызывает гармоничные образы Рафаэлевых кистей... Все это создано как бы незначай, как будто бы великая рука, пробегающая по клавиатуре только что открытого инструмента, знакомясь и знакомя других со всеми волшебными сочетаниями звуков на нем, от времени до времени увлекает несколько аккордов, вернее диссонансов, потрясающих слушателей”.

Слова эти принадлежат нашему первому министру просвещения — Анатолию Васильевичу Луначарскому, счастливо угадавшему “тайну” пушкинской лиры. Я хотел напомнить их моему собеседнику, но он уже повесил трубку — должно быть, спешил на заседание юбилейной комиссии. А потому решил напомнить вам, дабы не обвинили вы меня в несерьезном подходе к столь важной, государственной теме.

Да, Пушкин велик. Но не нашим славословием, а тем, что мы уже открыли и что еще предстоит открыть в нем. И открытия эти — бесконечны, ибо неисчерпаем его гений в любви к нам, к России, к миру, в желании пробуждать своей лирой чувства добрые. Однако на лице его — столь прекрасном, десятилетиями повторенном им самим рисунком и словом — не кондитерские румяна, а отблески космического света “звезд пылительной счастья”. И его юбилей, его двухсотый день рождения — не казенный “красный день календаря”, а праздник каждого из нас — без трибуны и пламенных речей. Ибо он знал, как трудно будет нам, России сегодня. Как велики и трагичны будут наши утраты. Знал и сказал: “Держитесь, ребята!”

Гафтом. Кстати, в Петербурге. Он сказал:

— Знаете, Пушкина легко представить себе в джинсах и свитере, выпрыгивающим из “Тойоты”. Правда? Жуковского или Вяземского — невозможно, а Пушкина...

Да, Пушкина можно вообразить и с гусиным пером в руке, и за клавиатурой ноутбука, набирающим строку про демократическое копыто, синяки и шишки от которого на многих из нас. Да, ему верим мы, когда, не утешая, но ободряя, заряжая верой своей, он говорит каждому из нас: “Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу... Жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, наши жены — старые хрючки, а дети будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать; а девочки сентиментальничать; а нам то и люблю. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы... Будьте здоровы. Христос с вами”.

Вот это годится к юбилею! А если бы на его главном торжестве мне дали возможность прочитать одно стихотворение Пушкина, я, перебрав те, что на службу каждого из нас, прочел бы вот это, коль уж нельзя при Президенте и членах правительства про ножку:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освещет Мефистофель.
Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклоном быть должен гений.

С днем рождения, Александр Сергеевич!

Алексей ПЬЯНОВ